

Денис Кочетков

Ветхое дворянство



16+

Денис Кочетков
Ветхое дворянство

«ЛитРес: Самиздат»

2017

Кочетков Д. О.

Ветхое дворянство / Д. О. Кочетков — «ЛитРес: Самиздат», 2017

Действие произведения происходит в 70-ых годах XIX века в Российской Империи. Основная идея заключена в том, что для кого-то смысл жизни — просвещение умов, а для кого-то — поиск любви и занятия по душе. Это история о молодых людях, заставших развал старых традиций и нравов, затмение былого дворянства, изменение привычного ритма жизни и прогрессивное развитие свободомыслия и либерализма.

Содержание

Пролог	5
Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	11
Глава 4	15
Глава 5	18
Глава 6	21
Глава 7	23
Глава 8	26
Глава 9	28
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Пролог

Весеннее солнце уже заходило за горизонт и все безоблачное небо покрывалось оранжево-красной лазурью, когда, стоя на балконе обычного московского дома, курили и тихонько беседовали двое молодых мужчин – первый двадцати шести лет, другой двадцати трех с половиною.

Первого из них звали Валерьяном Аполлинариевич Копейкиным. Это был высокий, немного худощавый молодой человек, с сосредоточенным пронзительным взглядом, бледноватым лицом, несколько взъерошенными длинными волосами, бакенбардами, переходящими в усы, и впалыми щеками. Он носил черный камлотовый сюртук, широкий темный галстук с золотой непримечательной булавкой, старые брюки со штрипками, бурый жилет с часами на серебряной цепочке и неплохие полуботинки. Историю он за собой имел небольшую: известно было лишь то, что отец, уездный банкир, отправил его в Москву с небольшим капиталом развиваться самостоятельно, выхлопотав для этого лишь место в Московском Университете на историко-филологическом факультете¹. Валерьян Аполлинариевич хорошо выучился и начал заниматься частным преподаванием славянской и зарубежной культуры. Вскоре у него уже появились не сказать, чтобы большие, но, однако ж, и не малые деньги, благодаря хорошей практике. Деньги эти он тратил преимущественно на книги по философии, привозимые товарищем из Германии. Начитавшись их, он подался в «кружок» строгого либералиста, увлекся его идеями, о которых еще упомянем ниже, и, обозначившись в обществе нигилистом², стал собирать «просветительские салоны», на которых и познакомился с нашим следующим героем.

Второго кутившего на балконе, белокурого молодого человека с гладко выбритым, светлым и жизнерадостным лицом звали Львом Аркадьевичем Зарецким. Он происходил из старого и уже обедневшего дворянского рода, берущего свое начало где-то в Польских землях. Характером он обладал спокойным и наивным; был, как, впрочем, и должно москвичу, ленив, мечтателен и влюбчив. Несмотря на свою природную красоту, в любви ему не везло: те молоденькие дамочки, за которыми он ухаживал, сторонились его, а те, кого сторонился он, всячески докучали и мешали жить. Служил он в Московском присутственном месте (что в доме губернского правления размещались), куда его устроил знакомый граф, но служил неохотно и безответственно. Связано это было, вероятно, с его сложным складом ума... Льву Аркадьевичу хотелось какой-нибудь романтики или геройства, хотелось иметь идею, цель жизни и маломальский идеал, а не чин X класса³. С Копейкиным, как говорилось выше, познакомился он в салоне, после чего хорошо сдружился и стал часто звать к себе. Валерьян Аполлинариевич, говоря откровенно, стал ему роднее брата.

¹ Московский Университет – ныне МГУ.

² Нигилисты – приверженцы мировоззренческой позиции, абсолютно отрицающей общепринятые ценности, идеалы. Им свойственен атеизм и материализм.

³ Чин X класса (по Табелю о рангах) – чин Коллежского секретаря.

Глава 1

– Какой свежий, приятный воздух! – восхищался Копейкин, вглядываясь в уходящую за горизонт улицу.

Зарецкий засмеялся и высыпал догоревший табак из трубки.

– Пстой, пстой, братец, – начал он, – ты говоришь мне о чистоте воздуха, хотя сам при этом куришь! Ты смешон, право.

– Ничего-то ты не понимаешь.

– А чего же тут понимать, позволь поинтересоваться? Воздух, он везде воздух...

– Нет, тут ты не прав, Лев Аркадич, – выдыхая очередной клуб дыма, возразил Копейкин. – Воздух сейчас особенный! Погляди; третьего дня дождь прошел, проливной, сильный, а теперь, когда день выдался солнечным и теплым, вся накопившаяся влага наполнила воздух. Чувствуешь, как свежо? Побольше бы таких дней...

– Ничего, – прервал с улыбкой Зарецкий, – Июнь всегда дождлив, насладишься еще.

Услышав шаги, доносившиеся за пределами комнаты, они спрятали трубки и возвратились с балкона. Через секунду вошла мать Льва Аркадьевича.

– Почему опять пахнет табаком? – недовольно спросила она.

Копейкин молча отряхнул сюртук.

– Валерьян Аполлинариевич, вы опять курили? Вы же знаете, как это вредно для моего сына! Прошу...

Зарецкий раскашлялся.

– Вот, – возмущенно протянула мать, – его загубит это дело. А уж об вас я и говорить не стану. Прошу, бросайте это занятие.

– Ступайте, госпожа Зарецкая, ступайте, – ровным, спокойным, как и всегда, голосом произнес Копейкин. – Я постараюсь исправить это; обещаю вам.

– Не желаете ли покушать с нами? – спросила она, немного погодя.

– Нет, нет, благодарствуйте; кажется, Лев Аркадич вовсе не голоден, а я, извольте видеть, кушаю только с ним.

Смутившись, мать вышла, затворив дверь.

Копейкин осторожно присел в кресла и закинул ноги на пуфик. Все его тело расслабилось и приготовилось к продолжительному отдыху, но взгляд, однако ж, оставался напряженным и задумчивым. Он не сводил глаз с Зарецкого; а тот, в свою очередь, впадал в дремоту. Комнатка, довольно маленькая и неприглядная, постепенно темнела, и силуэты сливались воедино. Наступал поздний вечер.

Подойдя к уснувшему Льву Аркадьевичу, Валерьян спросил: «У тебя остались спички?» На что тот, изрядно порыскав по карманам своих полосатых брюк, выкинул полупустой коробок. Через полминуты сверкнула сера, и от нее неохотно зажглась толстая восковая свеча, прилипшая к блюдцу. «Стой! – лениво и неразборчиво возразил Зарецкий, не открывая глаз. – Ты мне стол зальешь». Копейкин улыбнулся своими пухлыми губами, выглядывающими из-под густых черных усов, и вполголоса ответил: «Ничего, ототрешь; воск штука неплохая, природная». От единственной в этой комнате свечи светло, конечно же, не стало, только лишь страшные тени заиграли на стенах.

Копейкин какое-то время потомился в креслах, после чего встал, прошелся белоснежными руками по полкам книжного шкафа и сдул налипшую на пальцы пыль, от чего, собственно, чихнул. Простонав, с кушетки поднялся Зарецкий и пожелал своему товарищу здоровья недовольным тоном.

– Почему, разреши знать, у тебя столько пыли? – спросил Копейкин, указав на книги.

– Раньше у нас была служанка, она убиралась, вот пыли и не было, – зевая, отвечал Лев Аркадьевич, – а потом, когда ее уволили за ненадобностью, пыль появилась.

– Служанка! Это ты должен убирать. Твоя комната ведь; неужели приятно дышать всем этим? Мог бы хоть полки протереть для вида...

– А на что они мне? Пусть лежит себе пыль на книгах, она мне не мешает, изволишь видеть. Это скорее наоборот, когда ее сметать начнешь, то тут она и поднимается в воздух, что дышать нельзя. А так она безвредна, я считаю.

Копейкин засмеялся и присел обратно в кресла.

– Ты, право, необычайно забавен, Лев Аркадич, где еще таких встретишь! Чудак ты, чудак.

– Ха-ха, очень смешно с твоей стороны, а главное умно. Я ему про серьезные вещи толкую, а он, видите ли, смеяться изволит!

Копейкин залился смехом пуще прежнего и, закрывши глаза руками, откинулся на спинку кресел. Зарецкий обиженно посмотрел на него, нахмурился и отвернулся к стене.

Через полчаса оба приятеля уже лежали напротив друг друга, один на жестком диване старой обивки, другой на кушетке. Лев Аркадьевич, смотря в темноту окна, думал о красивых девушках, коих встречал он довольно редко, а Валерьян Аполлинариевич, скрестив руки на груди, рассуждал о пользе крестьянской реформы 1861 года. Однако оба в глубине души мечтали об одном – поскорее уехать за город.

– Лев Аркадич, – обратился вдруг Копейкин, повернув голову, – не желаешь поехать ко мне?

– Куда же это? – спросил Зарецкий, очнувшись от мечтаний.

– В уездный городок, к моему отцу. Там неплохо, тихо... На почтовых доедем до Новгорода, а там уж рукой будет подать.

– Нет, не хочу я на север; моя душа к теплу привыкла. Давай-ка лучше ты ко мне. Я давно держу в голове мысль о поездке в имение, а тут уж и компания выдалась. Загрузим тарантас и в Тулу, в губернию. Там луга живописные, красота вокруг, воздух чистейший, птицы певучие, леса девственные, словом все, что ты так ценишь.

– А речка там есть?

– Что ты! И речка есть и озеро есть.

– Право не знаю, как быть, – задумался Копейкин, – и отец звал к себе, – он подумал еще немного, а затем, приподнявшись, неожиданно спросил. – Ты мне Тулу покажешь? Я кое-какой материал собираю.

– Отчего же не показать; покажу, конечно!

– Так уж и быть, поехали. Завтра только вещи подготовлю да начальство предупрежу...

– Ты погоди; я тоже отпроситься должен, служба-то, не абы какая! Государственные дела переписывать – ответственность большая, – важным самодовольным тоном заговорил Зарецкий. – Я хоть и в чине не высок, все же...

– Полно, полно тебе, – перебил его Копейкин, – слышал я эти статские песни! Спать ложись, дипломат... Покойной ночи!

Зарецкий недовольно фыркнул и уткнулся в подушку.

Глава 2

На следующий день к трем часам приятели собрались во дворе и обговорили поездку. Тарантас Льва Аркадьевича, доставшийся ему от деда, нагрузили кое-какими запасами еды, одежды и разной утвари и выкатили на улицу. «Поехали», – отдал приказ Зарецкий нанятому кучеру, и экипаж отправился по московским улочкам.

Поначалу, когда тарантас шел мимо московских дач, Копейкин рассказывал про культуру и историю Москвы, про Царей Русского Царства, показывал старые храмы, величаво возвышающиеся на холмах, да и вообще делился своими знаниями. Зарецкий слушал его внимательно, вдумываясь в детали, отчего скоро задремал. Следом за ним укачался на безрессорной повозке и сам Валерьян Аполлинариевич. Полпути они так и проехали в мирной спячке, пока их экипаж не вышел на дорогу Тульской губернии. Тарантас заскакал на ухабистой земле и разбудил своих пассажиров.

Где-то в десятом или одиннадцатом часу их поездка завершилась: повозка завернула в небольшую деревню с богатыми домами на европейский манер (здесь селились средние дворяне и зажиточные купцы) и остановилась возле поросшего кустарником заборчика. Зарецкий вылез из кузова и прошел по знакомой тропке к какому-то двору, скрытому от случайных взоров ветками старой ольхи и липы. Он отворил низкие воротца и впустил экипаж внутрь. «Что ж, недурно, – произнес с почтенным видом Копейкин. – Скажу тебе откровенно, мой дорогой друг, здесь гораздо уютней, нежели в Москве». Зарецкий молча пожал плечами и принялся таскать пожитки в дом, который ко всему прочему выглядел весьма недурно: высокий первый этаж с шестью окошками украшало хорошенькое крыльцо с четырьмя колоннами, несколько потускневшими от времени; над ними располагался мезонин с балконом и полукруглым окошком на чердаке. В задней части дома находилась выходящая в сад остекленная веранда, на которой часто отдыхали хозяева. Стены были выкрашены в голубой цвет; а крыша блестела только обновившейся металлической кровлей.

Проводив кучера в людскую избу, Зарецкий пригласил Копейкина внутрь. С крыльца она вошли в узкую прихожую, из которой, по закрытой между стенами лестнице, поднялись в свободную комнату мезонина, где из мебели была только старая тахта с двумя стульчиками и чайным столиком. Здесь на полу лежало много пыльных книг на французском и немецком языках, которые некогда читал Лев Аркадьевич. Из этой комнатки, через маленький коридорчик, они зашли в комнату, довольно опрятную, просторную и с неким даже вкусом.

– А что, очень даже не плохая комната! – заявил с удовольствием Копейкин. – А где же твоя будет?

– Рядом; их тут две, – улыбаясь, ответил Зарецкий. – Сможем, так сказать, через стену общаться.

– Ты меня удивляешь все больше и больше! Здесь намного уютней, нежели в квартире: красиво, порядочно, убрано, – затем он выдержал паузу и добавил. – Нет, в самом деле, Лев Аркадич, я тобою восхищен. Только вот не знаю, чем бы заняться.

– Занятие всегда найдется, мой любезный друг, – лениво потягиваясь, ответил Зарецкий. – Пойдем-ка лучше вниз, я тебя двоюродной сестре представлю.

– Ага! – воскликнул Копейкин. – А я, изволишь видеть, знал, что здесь кто-то из женщин живет, то-то все прибрано...

– Прекрати; я обижусь.

В столовой, где все блестело и отливалось в голубых тонах, за круглым столом, с чашечкой ароматного чая сидела молоденькая темноволосая девушка в каштановом платье с турнюром. Это была двоюродная по матушке сестра Льва Аркадьевича Елена Порфирьевна Кауц (Делянова) двадцати двух годов от роду. В шестнадцать лет она вышла замуж за немца-музы-

канта Людвиг Вильгельма Кауца, учившего ее игре на фортепиано. С самого дня замужества она стала жить беспокойно, переезжая с места на место. Сперва супруг забрал ее в свой родной город Мюнхен, где она скоро поссорилась с его родней и, бросив все, вернулась в Москву, в непримечательную каморку на окраине, затем поселил ее в Петербурге, где она заболела простудой, затем снова увез в Мюнхен, и под конец заселил ее в какой-то уездный город. Когда денег на жилье и переезды почти не осталось, решено было выпросить у родственников Елены забытую усадьбу под Тулой. Согласия они добились, но вот немец деревенскую жизнь невзлюбил и, переругавшись с соседями, вернулся в Германию. От него еженедельно приходили письма, в которых он умолял ее приехать, но Елена Порфирьевна их игнорировала и сжигала.

Характер у нее был, не сказать, чтобы спокойный: она то сидела смиренно и занималась каким-нибудь делом, то рвалась куда-нибудь уехать, посмотреть на чужую жизнь, то вдруг начинала ныть, глядя на дожди и слякоть, то, наоборот, веселиться и дурачиться в лучах солнца. У Елены Порфирьевны была одна очень сильная страсть: она жутко любила все иностранное, начиная от заморских вещичек, заканчивая учебниками о культуре или истории какого-нибудь государства. Она, говоря откровенно, и замуж вышла только лишь из-за желания узнать немецкую душу. Повсюду она искала чужеземцев, чтобы засыпать их вопросами и вникнуть во все тайны их родины. Однажды Елена Порфирьевна чуть не уехала с Итальянцем, обещавшим показать ей Альпы, Венецию и Рим. Ее спасло возвращение мужа. С тех пор она редко выбиралась в свет без него...

– Добрый день, Helene! – поприветствовал ее Зарецкий, разведя руки в стороны.

– Здравствуй, – тихонько ответила та. – Кто твой товарищ?

– То есть ты не соизволишь даже поинтересоваться, какими судьбами я заехал?

– Лев, оставь эти формальности, – серьезно ответила Елена Порфирьевна и, пройдя мимо, протянула свою тонкую белую ручку гостю.

– Мое почтение, – прикоснувшись губами к ее ладони, сказал Копейкин и после представился.

– Откуда вы прибыли к нам?

– Из Москвы, конечно; там теперь очень хорошо. Вы давно были там?

– Ох, из Москвы? – с трепетом переспросила Елена. – Нет, я давно не гостила в Москве; *Ma position ne me le permet pas*⁴, – указав на обручальное кольцо, сказала она.

Зарецкий тихонько засмеялся.

– Чем вы занимаетесь, г-н Копейкин?

– Я историк-культуролог по профессии, и философ по увлечениям. Изучаю, как и славянскую культуру, так и зарубежную.

Елена загорелась глазами и глубоко вздохнула.

– Это правда? То есть вы знакомы с другими народами? С их традициями?

– Не так, чтобы сильно знаком, но пару интересных вещей знаю... Я только начал изучение зарубежья. Мною хорошо изучена греческая и французская культура; а что же до немецкой и итальянской – увы, не знаю, что и поведать.

– У тебя есть прекрасная возможность познакомиться с культурой обеих стран сразу, – смеясь, влез Зарецкий. – С Германией тебя ее супруг познакомит, а вот с Италией...

– Молчи, негодный! – возмутилась, топнув ногой, Елена Порфирьевна.

– *Bien! Je suis alle; je ne vois pas vous deranger*⁵, – обиженно произнес Зарецкий и вышел из столовой в прихожую.

– Мне кажется, он обиделся, – улыбаясь, сказал Копейкин Елене.

⁴ (фр.) Мое положение не позволяет мне этого.

⁵ (фр.) Хорошо! Я уйду; Не буду вам мешать.

– Ничего, подумается и успокоится; ему внимание нужно... Расскажите лучше о себе или о Европейских государствах.

Копейкин задумался, с чего бы лучше начать, и затянул лекцию о Франции. Он любил говорить о ней в удобном случае. В французских деятелях он видел пример благоразумия и совершенства.

Зарецкий тем временем решился прогуляться по лесу, по тропке, проходящей насквозь до соседней деревни. Он шагал довольно легко и незатейливо, его вовсе не терзала обида; нет, Лев Аркадьевич даже и не думал обижаться. Елена Порфирьевна всегда недолюбливала его, считала несерьезным и пустым человеком. Он же, в свою очередь, не испытывал к ней никаких чувств. «Есть у меня двоюродная сестра, и что с того? А ничего», – говорил он сам себе. Сейчас. Когда Зарецкий шел по тропинке в соседнюю деревню, он не думал о ни ней, ни о Копейкине, ни о загранице; он думал о природе, его окружавшей, пытался понять ее, прочувствовать ее силу, вникнуть в то, как все в ней устроено. Лев Аркадьевич смотрел на птиц и думал, как же хорошо, наверное, уметь летать, смотрел на белок, прыгающих с одной ветки на другую, и думал, как интересно облазить весь лес, смотрел на затаившегося за пнем зайца и рассуждал о его прыжках, смотрел, наконец, на муравьев под ногами и ужасался, как можно жить, не переставая трудиться. Так, думая обо всех зверях сразу, о лесе, о природе в целом, о ее таинственном существе, он вышел на другой стороне и пошел уже по малознакомой деревне.

Глава 3

В этой небольшой деревушке, именуемой Засеченкой, в просторном усадебном доме с четырьмя каменными колоннами и двумя флигельками, стоя за большим мольбертом, писала портрет своей матушки молоденькая красивая девушка в бледно-голубом платье с нешироким кринолином. У нее были шелковистые каштановые волосы, собранные в пучок, округлое, но не плотное личико, выразительные карие глаза под густыми ресницами, прямой нос, пухленькие розовые губки и очаровательная улыбка. Росту она была высокого (относительно остальных девушек), имела полную грудь, гордую осанку, подтянутую талию и длинные привлекательные ноги, которых, к сожалению, мужчины видеть не могли. Звали ее Натальей Константиновной Калигиной. Ей недавно минул двадцатый год, но она уже успела четыре года с отличием выучиться в художественной академии, которую бросила, не окончив курса.

Сюда Наташа приезжала с наступлением весны из Тулы с родителями, чтобы заниматься искусством, учиться житейскому опыту и просто отдыхать. Со Львом Аркадьевичем она познакомилась третьего года случайно, на прогулке. С тех пор они поддерживали хорошие отношения, но встречались лишь в летнее время.

Зарецкий, найдя ее дом, зашел во двор и громко свистнул по направлению окна в мастерскую. «Гляди-ка, – произнесла с улыбкой матушка Марфа Михайловна, – опять твой разбойник объявился. Ишь свистит, как соловей!» Наташа промыла кисточку и, отложив ее в сторону, подошла к матери и прошептала: «Не называй его разбойником, тамап; да и потом, – немного смущенно добавила она, – не мой он вовсе». Матушка поцеловала ее и отправила встречать гостя.

– Я уж начал думать, – радостно заголосил Зарецкий, – что вы, Наталья Константиновна, еще не приехали!

– Что же вы так шумите? – скромно улыбаясь, сказала Наташа и протянула руку к нему. – Я приехала еще на прошлой недели, а вот вас все не было. Почему решились вдруг заглянуть ко мне?

– Я, – поцеловавши ручку, отвечал Зарецкий, – не мог не посмотреть на вас, о милое создание.

– Фи! Лев Аркадич, что за тон, прекратите эту *tendresse*⁶, не то я могу обидеться.

– Какой ужас, я, кажется, задел розу и укололся об ее шип. *O tempora! O mores!*⁷

Из окна послышался смех Марфы Михайловны.

– Ох и позер же вы, Лев Аркадич! Любите показать себя, – краснея, сказала Наталья Константиновна и повела его в сторону леса.

– Прошу, Наташа, не зовите меня позером, – обиженно забормотал Зарецкий. – Не знаю, как для мужчин остальных, но для меня это немного оскорбительно... нет, унижительно! Говоря мне «позер», вы делаете меня вот таким вот мелочным, – тут он соединил указательный палец с большим. – Мне, право, неловко делается. А тут, простите, ведь еще ваша тамап в окне была.

– Лев Аркадич, не могу вообразить, что посмела оскорбить, вернее, унижить вас, – игриво-серьезно произнесла Наташа. – Какой вы ранимый стали, а я уж думала, возмужали за год.

– Возмужал! – восторженно воскликнул Зарецкий, – возмужал; взгляните на меня! Я не тот светленький мальчишка-позер, я уже... вон какой стал! – ткнув пальцем в небо, он выпятил грудь и выпрямился.

⁶ (фр.) Нежность.

⁷ (лат.) "О времена! О нравы!" – Латинское крылатое выражение.

– Ах, Лева, какой же вы забавный! Нет, вы все тот же белокурый позер, все тот же неугомонный мальчишка.

– Нет, это, право, нехорошо! Я не позер, я мужчина.

После последнего произнесенного Зарецким слова Наталья Константиновна засмеялась.

Немногим позже они уже заговорили о природе, которую Лев Аркадьевич, по его убеждению, познал с разных сторон. Он поделился своими впечатлениями от полета птиц, прыжков белки и зайца, позволил себе немного пофилософствовать на тему сущности человека и блеснул знаниями в области французского. Наталья Константиновна слушала внимательно, немного улыбаясь и наслаждаясь его звонким голосом. Скоро их несколько серьезная беседа переросла в шуточный и свободный от всяких формальностей разговор. Зарецкий стал вспоминать веселые случаи из жизни, рассказывать анекдоты и всячески стараться рассмешить Наташу.

Глубоко в душе они испытывали разные чувства по отношению друг к другу: Лев Аркадьевич томил себя догадками о том, нравится ли он этой серьезной натуре хоть на мизинец, или же она считает его пустым человеком, как и Елена; а Наталья Константиновна пыталась понять, что за неугомонный мальчишка живет в его теле и мешает повзрослеть. Она хоть и называла Зарецкого мальчишкой, все же сознавала себя младше него, считалась с его мнением и прислушивалась ко всем его советам. Да, женщины такой народ, что считают себя ниже мужчины, но ведут себя при этом гораздо выше и почтительней. «Мужчина, любой мужчина, в душе своей мальчишка, желающий только развлекаться и играть; тем не менее дамы от них без ума», – думала про себя Наташа и не переставала этому удивляться.

Небо покрылось багрянцем – это солнце уходило за горизонт и погружало землю во мрак. Повеяло холодом и свежестью; воздух наполнился запахами цветущих растений; зашумели березы и тополя. Лев Аркадьевич, распрощавшись с Натальей Константиновной, спешил через страшный скрипучий лес в свою деревню и пугался каждого шороха. Сверху летали сычи, на озере доносилось кваканье, вокруг пели сверчки, а где-то за оврагом, в какой-то далекой деревне, лаяли собаки. Зарецкий бежал по тропе и озирался на каждое дерево, машущее ему вслед своими длинными ветвями. Шелест листвы теперь был похож на затаившегося зверя, готового броситься на добычу, хруст под ногами – на что-то ужасно страшное, отчего все тело холодело и дрожало.

Меду тем в доме Зарецких царил миротворенность: Копейкин с Еленой Порфирьевной сидели в гостиной на мягком диванчике и листали небольшой сборник стихов какого-то русского поэта (разговоры об истории зарубежья их давно утомили). В этой красивой комнате нежно-зеленых оттенков пахло ландышами и духами. Свет от абажура и аргантовой лампы падал на все предметы старой, но еще красивой мебели, находившейся тут. Валерьян Аполлинариевич сидел в углу диванчика, облокотившись на боковину левой рукой, и читал стихи вслух. Елена слушала его с упоением, сидя рядом с прямой гордой осанкой. Они, кажется, совсем забыли о существовании Льва Аркадьевича, который так боязливо пересекал ночной лес.

Наталья Константиновна в это время сидела у себя в будуаре, оранжево-розовой комнате второго этажа с балкончиком, и неохотно мешала на палитре краски. Добиться нужного цвета ей все никак не удавалось, и она все сильнее и сильнее тосковала. Наконец, отложивши это занятие в сторону, Наташа подставила свой высокий стул к окну и, присев, свесила с подоконника руки. Она делала так всякий раз, когда ей становилось скучно и одиноко. Ей хотелось снова пройтись с Зарецким по лесу, поговорить о чем-нибудь, посмеяться над глупостями, полюбоваться природой... О чем только не мечтала в это мгновение Наталья Константиновна.

Лев Аркадьевич выбежал, в конце концов, к деревне и выдохнул. Его сердце било в самых висках и вот-вот грозило вырваться. Немного отдышавшись, он пришел в себя после легкого ужаса и двинулся дальше.

Зарецкий, шурша одеждой о заросли около дома, отпер калитку и поднялся на крыльцо. Вздохнувши, он посмотрел в окно столовой, в которое, впрочем, ничего не увидел, и присел на ступеньки. Через открытую форточку послышался выразительный голос Копейкина. «Смотрика, – прошептал Зарецкий, – мою книгу взяли». Он тихонько вошел в прихожую, сменил замасленную обувь на мягкие тапочки и подкрался к приоткрытой двери в гостиную.

– Живя, умей все пережить:

Печаль, и радость, и тревогу, – цитировал Копейкин.

– Чего желать? О чем тужить?

День пережит – и слава Богу! – продолжил, войдя в комнату, Лев Аркадьевич.

– Вот ты, наконец, и вернулся! – сказал, не то радостно, не то удивленно Валерьян Аполлинариевич. – Я уж думал, что ты нас совсем бросил... оскорбился.

Зарецкий молча взял сборник стихов Тютчева и возвратил его на законное место в этажерке.

– Ох, какая важность! – вредно возразила ему Елена Порфирьевна. – Вечно ты норовишь испортить мне вечер, – а затем, выдержав небольшую паузу, добавила с глубочайшей иронией. – Ваше Высокоблагородие, не желаете ли пройти-с в столовую и отвесть-с ужину-с? Который, к вашему сведению, давно остыл!

– Простите, знаю, что не должен, но все же вмещаюсь, – неловко произнес Копейкин, – Helene, вы слишком строги с ним. К тому же, смею дерзнуть, напомню вам, что он здесь хозяин, а я его гость...

– Хозяин! – от неловкости вскрикнула Елена Порфирьевна. – Да я больше него здесь живу. Хозяин, понимаете ли. Гм!

Зарецкий молча потупил голову и вышел в столовую. Копейкин проследовал за ним, небрежно шагая по холодному полу.

– Аннушка, – позвал вполголоса Лев Аркадьевич, – будь так любезна, разогрей мне ужину.

С кухни, которая здесь была еще и девичьей комнатой, выглянула блондиночка с длинной косой на плече и покорно кивнула головкой. Зарецкий присел за стол, зажег канделябры и приготовил салфетку. В этот момент вошел Копейкин.

– Раз уж ты изволил прийти, – важным тоном произнес Лев Аркадьевич, – подай мне из буфета три бокала и бутылку портвейна.

Копейкин выполнил указание друга и, поставивши все на стол, присел рядом.

– Отчего ты печалишься, дорогой мой Лев Аркадич, – спросил он. – Да, я согласен, Helene слишком груба с тобою, и я даже знаю почему, но разве ты не привык к этому? Мне казалось, что ты не обращаешь на нее внимание. Поверь, друг мой, она не стоит того, чтобы ты из-за нее обижался. Она горделива, видит себя барышней, ну и что же? Напротив, это хорошо; лучше же, чем легкомысленная, прошу прощения, дурнушка.

– Постой, постой, – перебил Зарецкий, – ты сказал, что знаешь причину ее грубости? Так что же?

– Да, знаю. Хочешь, чтобы я тебе это сказал – пожалуйста... Твоя сестра влюблена в меня.

Зарецкий напряг глаза и нахмурил брови.

– Да, да, – продолжал Копейкин, – и не смотри на меня так. Это очень ясно видно. Конечно, это пока еще не влюбленность, а заинтересованность; но я уверяю тебя, все идет к тому...

– Да что ты говоришь такое! – разгорячился Зарецкий. – Это вздор! Она замужняя женщина, замечу тебе! Она... Да что ты себе позволяешь, Валерьян Аполлинариевич? Ты, гляди, не вздумай даже омрачить ее этим своим... обаянием; я же тебя знаю. А то это уже подлость какая-то выходит; нехорошо!

– Побойся Бога, Лев Аркадич, не шуми и не горячись зря, – смеясь, проговорил Копейкин. – Никакой подлости здесь нет. Я же, в конце концов, в своем уме, братец ты мой любезный. Разве я могу поступить, как последняя каналья? Ты считаешь так? Ежели так – я сию минуту собираюсь и уезжаю в Москву.

– Нет, нет, нет, стой; я вовсе так не считаю! Брось эти шуточки, Валерьян. Давай-ка лучше за вино возьмемся. Нам нужно привести головы в порядок.

– Да, день тяжелый выдался; нужно подлечить организм. Вот только не пойму, для кого ты велел третий бокал поставить? Helene намерен звать?

– Нет, она не пьет вовсе; это для Аннушки, служаночки нашей.

Тут в столовую с кухни робко зашла та самая Аннушка и, разложив на столе блюда, осторожно присела на стул. Зарецкий ловко откупорил бутылку портвейна и разлил его по бокалам. Раздался звон. Крепленое золотисто-коричневое вино влилось в организмы сидящих за столом и через некоторое время, как говорится, «ударило в голову». Затянулись кое-какие разговоры. Ослабев, Аннушка оставила застолье и отправилась спать. Зарецкий с Копейкиным остались сидеть еще до часу ночи, пока все свечи не истаяли и не погрузили столовую во тьму. Только по этой причине они решились подняться со своих мест и, придерживая друг друга под плечи, забраться в комнаты мезонина. Обозначив всевозможные углы ударами лбов, они все же сумели настигнуть кровати и, завалившись на них в одежде, погрузиться в сон.

Глава 4

На следующий день, рано утром, Елена Порфирьевна засобиравалась в церковь молиться за болеющего отца. За окном лил сильный беспросветный дождь. Всю землю размыло; молодая травка утонула в глубоких лужах, а деревья зашумели мокрой темной листвой. Гулял ураган, гнувший осины и березы. От громоздких, застилающих все небо серых туч проходило мало света и казалось, будто наступали сумерки. На улицах не было видно ни одного зверя, все попрятались в это противное время...

Одевшись в скромное темное платье и повязав старинный печатный платок на голову, Елена закуталась в макинтош, оставленный мужем, и вышла во двор. У калитки ей почудилось, будто кто-то прятался за самым домом, в молодом саду, укрывшись от непогоды в беседке. Она не обманулась: в беседке действительно кто-то сидел и потягивал дымок из трубки. Робко Елена подошла к нему сзади...

– Helene? – неожиданно обернувшись, сказал Копейкин, – что вы делаете в такое раннее время на улице? Кажется, вы куда-то собрались, верно?

– Валерьян Аполлинариевич, вы, право, напугали меня! – встревоженно произнесла Елена, поправляя платок. – Да, я иду в соседнее село на обедню. Не желаете составить мне компанию?

– Что же, я могу пойти с вами, – недолго думая, сказал Копейкин и закончил курить. – Пусть я и не набожен, все же сделаю это ради вас... из глубочайшей признательности к вам.

Они неспешно вышли со двора на размытую дорогу и отправились в сторону села.

– Знаете, – начал вдруг Копейкин, – я решительно не понимаю фанатичную веру, то есть ту веру, ради которой люди с ума готовы сойти, лишь бы их в обществе возлюбили. Они ведь, помилуйте, голову разобьют, доказывая всем, что без веры нет жизни и смерти. Вы встречали фанатиков? Я, признаюсь, встречал; был у меня такой знакомец, – произнес он с улыбкой. – Да, поверьте, уж кого-кого, но с фанатиком дружбу иметь вредно. Это равносильно инквизиции, только в одном лице. Так вот, если позволите, я немного расскажу про знакольца. Это произошло еще этой зимой, перед Рождеством, кажется; мы с приятелем после одного мероприятия, возвращаясь домой, решили заглянуть в чудное московское заведение, зовущееся кабаком. Знаете, такое мрачное холодное место, где всегда пахнет пивом, тухлятиной, потом и прочей нечистью... так вот мы, судьбой туда заброшенные, оказались свидетелями одного инцидента между стариком-материалистом и молодым студентом-философом. Дело было в том, что старик, раскричавшись на полового за плохое пиво, упомянул, скажем мягко, рогатого с тех самых страшных мест, коим пугают нас с детства, а студентик, сидевший по соседству, как, впрочем, и все остальные посетители кабака, услышал его брань. Тут-то и разразился скандал: молодой философ, глупый фанатик теорий Фон Шлегеля и Хомякова, тех теорий, которые в своем реальном виде не могут превратить человека фанатика, вскочил со своего стула и, вооружившись большим поповским крестом (неизвестно как к нему попавшим), стал читать целую проповедь. Проповедь о том, что бесы и прочие нечисти овладели глупым разумом старика и пытались погрязнуть имя Господа, что его «материалистическое маловерие» – явный путь в преисподнюю, что гнев – показатель бесовской власти и прочее, и прочее. Но это было только полбеда... после прилюдного оскорбления, брошенного всем материалистам в лице невинного старика, он стал созывать народ на вечерню и попирает тех, кто отказывался. Мы, ради великого интереса, откликнулись. Что же, пошли к храму, по пути слушая его причитания о развращенности люда. Я, верите ли, не встречал речей сквернее тех, которые услышал от него в этот момент. Он ругал ученых за их «ересь», тех же бедных философов, «обманывающих рабов Божьих», врачей, «творящих самовольные суды над людьми», министров за «богосупрующее поведение, разврат и мошенничество, то есть кражу», старух за «роптанье на жизнь»

и много кого еще. Он тогда, впрочем, откровенно доложил нам, что его к такой вере подтолкнула смерть матери и распутство сестры. От одиночества, короче говоря, свихнулся он... Я к чему вел вас, послушайте; я хотел донести, что вера, какая бы она не была должна оставаться верой, а не законом жизни; молитесь, пейте кагор, исповедуйтесь, но делайте это втихомолку, не разглашая всем; не учите и без того измученный народ; не проклиняйте ученых и маловеров, их потом осудят, как сказал мне один поп. Нужно из веры извлекать главное – любить ближних своих, как говорит ваша Библия. Я же, конечно, хоть и считаю все это глупостями и сознательным одурачиванием самого себя, все же не лезу биться с церквами и архиереями, вооружившись томами Гегеля или Фейербаха. Между тем я далеко зашел, простите мне это; не обращайтесь на меня внимания, нужно было выговориться.

– Нет, нет, вы интересные все вещи говорите! – одухотворенно произнесла Елена, взяв Копейкина за руку. – Только, пожалуйста, доскажите, что же стало с вашим знакомцем.

– С фанатиком-то? Говорят, будто его отлучили от церкви за ересь и жестокость (известно какую), после чего он то ли повесился, то ли утопился в Москве-Реке. Так сказать, поставил крест на себе, вере и всех своих идеях. Таких людей я, признаться не люблю больше всего, – тут Копейкин даже случайно стиснул ладошку Елены. – Уж, если назвал себя последователем чего-либо, так следуй до конца! Нужно верить в свой идеал, не отступать от выбранного пути, жить идеями! Идея – это все, это смысл человеческой жизни! Например, поп живет, чтобы просвещать христиан о законах Божьих; Философ-материалист, последователь Мольте, Фейербаха, Гегеля, живет ради убеждения народа в его свободе, в его великом природном начале; врач живет, чтобы изобретать лекарства и дарить людям здоровье и жизнь... и так далее. Поверьте, переступить через свою идею, оставить ее позади несовершенной – гиблое дело! Верьте в идею, поклоняйтесь ей, но не бросайте...

Между тем они подошли к храму, и Копейкин смиренно умолк, чтобы дать Елене настроиться на предстоящую молитву.

Во время обедни она пыталась молиться о себе и отце, но ее постоянно отвлекало присутствие Валерьяна Аполлинариевича. Признаться, его рассуждения тронули ее наивную душу. Она читала молитвы скромнее и ленивее прежнего, ниже кланялась и не чувствовала легкость в душе. Ее тело впервые взвыло ломкой в спине и отеками рук. Ей захотелось покинуть службу... Однако ж, этого, к счастью, не произошло.

Тем временем в доме Зарецких от сна пробудился Лев Аркадьевич. После «ночных бесед» у него жутко болела голова. Не имея сил, что бы встать он впервые воспользовался колокольчиком, услышав который прибежала Аннушка.

– Аннушка, милая, подай чаю и раствори занавески, – жалобно протянул он.

Шторы распахнулись, и Зарецкий увидел за окном дождь.

– Что это? – приподнявшись, спросил он. – Мне плохо! Мне, право, плохо! Я не верю в то, что сейчас за окном; отвори раму,пусти воздух с улицы в комнату.

Аннушка открыла окно и побежала вниз за чаем.

– Нет, – забормотал Зарецкий, – это неправда; я должен был пойти сегодня к Наташе, моему ангелу; я должен был гулять с ней до вечера, наслаждаться ее чудным голосом, вдыхать аромат ее волос, глядеть ей в самые глаза, темные многогранные зеркала души. Нет, я не хочу одиночества, мне нужна Наташа! – вскрикнул вдруг он. – Аннушка, Аннушка, скорее помоги мне, мне больно, – едва не плача, как ребенок, завопил Зарецкий. – Иди ко мне, Аннушка, брось чай, только утешь меня.

На крики и стоны прибежала взволнованная Аннушка и припала к постели, ощупывая его лоб (она подумала, что он мог заболеть). Но ведь он действительно был болен на тот момент, разве что не физически, а сердечно. Сама жизнь, судьба злодейка, не дала ему увидеться с любимым человеком. Во-первых, он страдал от неразделенной, вернее, тайной любви,

так теперь к этому присовокупилось стечение обстоятельств, по которым он не мог даже увидеться с предметом своего обожания. Он отчаялся...

– Что с вами, Лев, что с вами? – хлопотала вокруг Аннушка. – Почему вам нездоровится? Это верно после вчерашнего; не нужно было вам пить, не нужно. Слабы вы для этого... мы все слабы! Давайте не будем больше пить, это вредно для вас, вы молоды, слишком молоды; я тоже не буду, мне нельзя, я служанка, я покорная раба ваша, Лев Аркадич... Простите, – сама не зная за что, сказала вдруг Аннушка, едва сдержав слезы.

Зарецкий, не выдержав такого приторного и вместе с тем глупого обращения с ним, закрыл ее рот рукой, а затем поцеловал в самые губы. Она раскраснелась до ужаса и, закрыв руками лицо, побежала прочь. И тут он промазал, и тут не вышло! Разозлившись на самого себя, на всю свою жизнь, он ударил со всей силы по подушке и накрыл ею голову. Так он пролежал довольно до самого вечера...

Елена и Валерьян Аполлинариевич этот день провели вместе. Кажется, они были единственными, кто не поддался расстройству духа в это дождливое время. После обедни они заглянули в лавку мелкого кондитера, купили немного сладостей, затем прогулялись по кленовой аллее (уходя от дома, Копейкин захватил с собой зонт), посмотрели на бегущие по размытой дорожке ручейки, посидели в саду, беседуя о достоинствах России перед Западом, и, наконец, вернулись в дом, где пообедав, сели за совместное чтение французских книжек.

Глава 5

Мрачная дождливая погода продлилась трое суток и сменилась потеплением. На каплях росы заиграли солнечные зайчики, зашуршала низкая изумрудно-зеленая травка, защибетали птицы, вьющие свои гнезда, застрекотали невидимые насекомые, скрывающиеся под ногами, и снова зашумела жизнь в деревнях. На огородах и полях показались мужики, у реки, вооружившись корзинками белья, собрались женщины; окна усадебных домов вновь раскрылись, впуслав в комнаты свежий воздух, и из них потянулись тонкие темно-серые струйки дыма от медных и серебряных самоваров.

Зарецкий с наступлением тепла повеселел и сразу же засобирался к Наташе. Он надел яркий, нетрадиционный для этого времени, можно сказать, вызывающий розовый фрак с белыми в полоску панталонами и, поправив изысканный кремовый бант на шее, отправился со двора. Мимоходом он покружил от счастья Аннушку, нарвал кое-каких цветов и посвистел соловью. Идти через лес он не пожелал, так как побоялся запачкаться, вместо этого избрав путь, лежащий через овраг и цветочные луга. На тех лугах он бегал еще во времена своего детства, играючи с ребяташками, блуждал во времена юности, слушая напевы коноплянки, и, наконец, любил проводить вечера своих «взрослых лет» под одинокой ветвистой ивой, растущей здесь на месте засохшего пруда. Эти светлые продуваемые вольными ветрами со всех сторон места он любил всей душой, а потому и не спешил покинуть их. Он, кажется, на минуту вовсе забыл о Наташе, о деревне, о доме, обо всей своей жизни; все его внимание остановилось на этом раздолье, на этом солнечном лугу... Ничто, ничто не влекло его сильнее, чем эти места и одинокая, как он сам, ива, беспрестанно плачущая и скрипящая своими тонкими обращенными к земле ветвями. Но времени для отдыха в ее холодной, навевающей тяжелые мысли тени не было, и потому он прошел мимо.

Наталья Константиновна в это время занималась портретом своей матушки, а именно подбирала нужные тона для ее стареющего лица. Занятие это было не из легких, и Наташа, как это принято говорить, *un peu nerveux*⁸. Маленький казачок вбежал в комнату и объявил: «Господин Зарецкий явились», именно тогда, когда она клала кисть на холст и делала мелкие штрихи. От испуга ее рука дернулась, и мазок вышел неосторожным. «*va t'en, Michael!*⁹», – дрожащим голосом вскрикнула она, и казачок исчез.

Послышались шаги Льва Аркадьевича на лестнице. Он поднимался осторожно; не бежал как прежде, не скакал, а отчеканивал каждый шаг. Он шел в задумчивости и предвкушал встречу.

– Вы чудесно выглядите, Леон! – ласково произнесла Марфа Михайловна, выйдя в холл навстречу ему. – Этот фрак, кажется, очень хорошо сидит. Проходите в мастерскую, Natalie там мой портрет пишет; она такая чудная художница!

Зарецкий хотел было ответить ей и поздороваться, но та сию же минуту скрылась в своей спальне.

– Чего же вы стоите в холле? – спросила ровным голосом Наталья Константиновна, выглянув из-за мольберта. – Заходите, не томитесь. Я могла бы показать вам свою работу, да вот, знаете, имею привычку не демонстрировать портреты до их окончания. К тому же из-за вашего неожиданного появления я слегка напугалась и сделала нехорошо. Так что же вы хотели?

Зарецкий, помявшись, прошел в комнату и растерялся; мысли покинули его голову, а горло пересохло.

– Что же вы молчите, Лев Аркадич? Вас что-то смущает? Скажите что-нибудь.

⁸ (фр.) Немного нервничала.

⁹ (фр.) Уходи, Михаил!

– Наталья Константиновна, – неуверенно выговорил Зарецкий, – могу я просить...

Не говоря ни слова, Наташа подала ему руку, измазанную в краске, и он украдкой поцеловал ее пальчики.

– Можно сделать просьбу? – робея, произнес он. – Не говорите так серьезно; ваш голос легок и мягок, а вы произносите слова так сухо; не нужно, смягчитесь.

– Лев Аркадич, будто мне и нельзя поважничать перед вами! – уже легко, даже с иронией, ответствовала Наташа.

– Сколько времени мы не виделись с вами? – опускаясь на кресла возле окна, спросил он.

– Не знаю, помилуйте. Я, признаться, и не думала заниматься подсчетами. А что такое?

– Не считали? – грустно повторил Зарецкий и, помолчав немного, сказал. – Три дня и три ночи! Как вы чувствовали себя в это время? Я, к примеру, плохо спал: все глядел в запотевшее окно и думал о вас. Как вам спалось? О чем думали вы в эти дни? Мне кажется, дождь навевает воспоминания... Вы думали о наших прогулках и разговорах?

– Я спала покойно, мой милый друг; думала... да кто же теперь вспомнит, о чем я могла думать в такое дождливое время? – безынтересно отвечала Наташа. – Сидите так, не шевелитесь, – вдруг попросила она, зашуршав листом бумаги. – Смотрите в окно, на небо, я нарисую вас.

Зарецкий, удивленный этому, поднял глаза на облака за окном и задумался.

– Лев Аркадич, снимите этот бант и выпрямите спину. Мне нужна идеальная позиция для выразительной композиции. Хорошо. Я, если позволите, сделаю ваш портрет в акварели; вы же не будете против? Для вашей веселой и живой натуры подходит именно она. На мой взгляд, краски тоже играют не последнюю роль; через них возможно передать кусочек души, – погрузившись в работу над созданием эскиза, заговорила Наташа. – У вас очень красивый фрак, очень необычный. Теперь, к сожалению, таких не носят; в моде черные тона. Ах, если бы все мужчины одевались, как раньше! Я вам доложу откровенно, портреты нынче стали скучноваты: нет выразительности, нет блеска, искры; теперь все темно и мрачно... Женщины, впрочем, не лучше: навывдумывали носить бесстыжие турнюрные платья, да цвета по моде – розовые, красные, желтые, все яркие и режущие глаза. Нет, что-нибудь легкое надеть: голубое или зеленое платьице с мягким кринолином, например, – тут она самодовольно покрутила свое платье синего отлива, – все моду слушают! Эта мода губительна! Оттого-то я, признаюсь, и стала художницей, чтобы законно видеть мир иначе.

Зарецкий слушал ее с улыбкой на лице и держался изо всех сил, чтобы не пошевелиться. Так он просидел без малого полчаса, пока Наташа не объявила, что эскиз готов. Они оставили пределы мастерской и вышли на улицу.

– Смотрите, как груша расцвела в саду! – весело сказала Наталья Константиновна. – Известно ли вам, что груша – символизирует дружбу? Дружба. Что такое дружба?

– Неужто вы не знаете? – смеясь, спросил Зарецкий. – Дружба – это то, благодаря чему люди общаются друг с другом достаточно близко, верят друг другу. Это что-то вроде привязанности. Мы ведь с вами друзья...

– А нравится ли вам кто-нибудь, Лев Аркадич? – перебила Наташа. – Принадлежит ли ваше сердце какой-нибудь даме?

Зарецкий не мог сказать правду, а потому сильно растерялся. Его сердце заколотилось в висках, руки похолодели. «Я пропал! – подумал он в сердцах и побледнел. – Что сказать? Кого я могу любить, если не ее?»

– Неужели вы так одиноки, что боитесь сказать об этом? Да разве ж беда? Еще найдется та девушка, которая полюбит вас, не переживайте, – дружелюбно сказала Наташа.

– Да, – вдруг ответил Зарецкий, – я действительно очень одинок. Позвольте же и мне задать вам этот вопрос.

– Ах, Лев Аркадич, любовь для меня пустое слово; я в ней совершенно не нуждаюсь. Душу потешить и искусство может, уж поверьте. Кстати об искусстве: вы, я слышана, играете на фортепиано?

– Только учусь, но кое-что могу сыграть. Вы желаете послушать? Я могу попробовать, если хотите.

– Идемте во флигель, Лев, там стоит новое фортепиано. Конечно, я могла бы предоставить вам и рояль, но матушка не позволит прикасаться к нему. Идемте же...

Зарецкий был подхвачен за руку Натальей Константиновной, и они вместе направились в двухэтажный флигель с итальянским декором. Это было небольшое прямоугольное здание белого цвета с барельефами, пилястрами и фресками итальянских мастеров, в котором отдыхали гости, приезжающие к Калигиным на какое-то время. Первый этаж украшали портреты дворян, аккуратные дорогие канапе, столики из красного дерева, статуэтки античных богинь и маленькие диванчики. В центре комнаты, перед креслами, стояло хорошенькое фортепиано, подаренное отцу Наташи каким-то князем.

Зарецкий размял пальцы, вспомнил мотив и начал Сонатину до мажор ор.36 №1, которую он знал лучше всего.

Между тем в доме Зарецких Елена слушала (не без удовольствия, конечно) толки Копейкина об идеях Гегеля и Шеллинга. Он сравнивал их учения, отстаивал разные точки зрения, цитировал догмы и спорил над их правотой. Елена, помимо своей любви ко всему заграничному, увлекалась философией, в которой, говоря откровенно, ничего не смыслила. Тем не менее, она не упускала возможности послушать мудрые суждения. Она обдумывала суть, уловленную из философских рассуждений, давала ей применение в быту и уже через день-два забывала. «Поразительно!» – восклицала она всякий раз, слыша от Копейкина что-то непонятно-заумное; «Я, право, думала также! Это же истинная правда!» – возражала она, слыша умозаключение.

Они сидели на веранде, в задней части дома, за круглым столиком с самоваром, в плетеных креслах. Елена держалась прямо, по обыкновению, положив руки на колени, а Копейкин сидел свободно и даже неряшливо, расстегнув свой сюртук и положив ногу на ногу. Он беспрестанно курил папироски, разоряя свой портсигар, и много кашлял от скопившегося вокруг него едкого клуба дыма. Кашляла и Елена, прикрываясь веером, но он не замечал этого...

Глава 6

Зарецкий окончил свою игру на фортепиано и, закрыв крышку, обратился к Наташе. Та, сидя в большом мягком кресле и положив под голову подушку, спала. «Неужели вы заснули? – трепетно прошептал он. – Но ведь это произведение совсем не располагает ко сну; напротив, оно должно бодрить, возбуждать чувства... Ах, Наталья, Наташа вы моя, – сладко произнес он, – вы еще прекрасней, когда спите. Как же жаль, что я не художник, как вы, жаль, что я не могу изобразить вас. Вы так прекрасны и так неприступны... Да я, пожалуй, отдал бы все, что имею, лишь бы поцеловать вас, покружить в объятиях и ощутить ваше дыхание. Как трудно смотреть на человека, которого сильно любишь, но не можешь даже обнять! Как досадно осознавать себя товарищем, другом, приятелем, но не любимым созданием. Женщины, – произнес он в сердцах, – вы счастливы в любви сильнее мужчин, но совершенно не признаете этого! Вы можете овладеть сердцем каждого второго встречного, а мы, хоть горы свернем, не дождемся и незатейливого поцелуя. Вы выбираете из тысячи, вы судите нас и сравниваете... а мы... а мы можем выбрать лишь тех, кто выбрал нас. Редко, очень редко мужчине удается покорить понравившуюся ему даму, овладеть ею. О, эти мужчины счастливики! Да возрадуется влюбленное сердце, получившее взаимность! Как хорошо любить и быть любимым, и как горько любить безответно!»

Зарецкий тихонько вышел из флигеля и присел на ступеньки. Напротив, благоухая, цвела молодая сирень. В этом году она особенно преобразилась: ее розовые цветочки основательно закрыли собой тонкие зелено-коричневые веточки; листочки выглядели из-за них только при помощи ветра; а ствола не было видно вовсе. Распушившись, это дивное невысокое растение украсило всю усадебную территорию. Нигде больше не было подобных ярких цветов. Вокруг все выглядело темно-зеленым и невыразительным, старым и забытым: в саду росли полувековые яблони, покрытые мхом и грибом, колючие мало плодоносящие кусты крыжовника, кислая тускло-красная смородина и иссохшая малина. Лев Аркадьевич, вдоволь насмотревшись на скучный увядающий сад, отломил веточку сирени и, многозначительно вздохнув, пошел домой.

В этот день в Москве, в квартире Зарецких, присутствовал один близкий товарищ Аркадия Никодимовича – Иннокентий Ефимович Загнетьев. Это был низенький сутуловатый мужичок тридцати семи лет, с темными, большими и некрасивыми глазами, бойко выглядывающими из под изогнутых бровей, острым горбатым носом, маленькими сухими губами и постоянно лохматой черной головой. Он не носил галстука, одевался в старый парусиновый сюртук, грубую чиновничью шинель с прорехами и мешковатые потертые брюки. Этот человек редко ходил куда-нибудь, кроме присутственных мест, часто болел, экономил деньги до безумия, беспрестанно прислуживался перед вышестоящими чинами, не умел хитрить, говорил несколько затруднительно и совершенно не имел понятия, как вести себя в обществе. Оттого-то, вероятно, и прозывали его всюду серой мышью, бегающей из дома в присутствие, из присутствия в дом. Происхождения его никто не знал; а поговаривали только, что предки были такими же чиновниками, как и он сам.

– Вы давно не навещали нас, – твердо и хмуро говорил Аркадий Никодимович, расхаживая по кабинету, – а ведь обещали! Что же, потрудитесь ответить, помешало вам?

– Я, господин Зарецкий, покорнейше прошу вашего прощения, что не смог найти времени для визита, – гнусавым голосом отвечал Иннокентий Ефимович, сутулясь в креслах у окна. – Все, знаете ли, служба. Нынче строго у нас. Не позволяют отдыхать от работы. Бумажные дела – дела долгие, господин Зарецкий. Я не могу отказать в домашней работе; вот, извольте, и не имею возможности навещать вас. Вы уж поймите меня, пожалуйста.

– Разве вас тоже притесняют? – Иннокентий Ефимович служил в чине титулярного советника (IX класс) в том же присутственном месте, что и Лев Аркадьевич.

– Что вы! С нас дерут, простите, похлеще, чем в департаменте, господин Зарецкий. Над нами такого столоначальника поставили, что не забалуешь. Он все ходит по комнатам, глядит в каждый документ, нервничает, кричит да ругается на каллиграфию. На прошлой неделе после таких обходов двух чиновников выгнали, мол, с обязанностями не справились.

– Не переживайте, – пробормотал, закуривая сигарку, Аркадий Никодимович, – вас, Иннокентий Ефимыч, не выгонят; вы, я слышан, хорошо служите, порядочно.

– Ой, не сглазьте, ради Бога! Я тоже по службе не чист: ошибки, бывает, допускаю, бумагу казенную расходую, еще чернилами капаю. Заметят ведь – стыда не оберешься; выгонят, так и знайте, – гнусавил робким голосом Загнетьев. – А еще погода, знаете, некстати! Так и норовит простудить меня, а вам известно, как я боюсь болезней; ведь мне, простите, болеть совсем нельзя; тогда выгонят тут же. К тому же, например, батюшка мой от чахотки скончался; как уж тут не бояться болезни? Болеть никак нельзя...

– Вы много навязываете себе, а ведь от этого больше вероятность заболеть! Ну, полно нам впустую разглагольствовать, расскажите лучше о том, с чего начали по приходу.

– Вы просили меня разузнать о службе вашего сына... Так вот я на днях имел возможность посетить кабинеты протоколистов, где он трудится.

– И что же? – нервно дергая усы, спросил Аркадий Никодимович.

– Я спросил одного благовоспитанного секретаря, к которому имел честь принести важные документы, на эту тему. Так вот он, господин Зарецкий, доложил мне несколько неприятную для вас новость. Льва Аркадьевича, простите, выгнали из-за халатности.

Аркадий Никодимович стукнул кулаком по столу, отчего чашка чая, стоявшая на нем, упала на пол и разбилась.

Набравшись достаточно воздуха, спертого в этом душном кабинете, он громко закричал всяческие ругательные слова в адрес сына, укоряя его в безнравственности и безответственности. Подняв кулаки над собой, он затопал ногами и прогнал от себя Иннокентия Ефимовича, после чего долго еще сетовал на «беспринципного тунеядца и бездельника».

День спустя к веселому от прогулок с Наташей тунеядцу-бездельнику пришло письмо из Москвы с гербовой печатью и нервически-размашистой подписью следующего содержания:

«Дорогой Лев, прошу тебя оставить свое праздное и бессмысленное времяпровождение в деревне и немедленно вернуться к нам! Также прошу не огорчать меня долгими ожиданиями, и потому советую отправляться сразу после получения сего письма. Тебя ждут крайне плохие новости по поводу службы в присутствии. Забегая вперед и игнорируя глупую интригу, доложу, что тебя, как легкомысленного юнца, коим считают тебя все, выгнали. Не теряй, пожалуйста, времени зря; садись в тарантас и поезжай в Москву. Деньги на путевые расходы я прилагаю к письму. Твой негодующий и крайне возмущенный отец».

Прочитав это наскоро написанное письмо, Зарецкий рухнул в кресла и велел подать себе вина. Он быстро захмелел и, «уйдя в себя», бросил конверт в печь.

Глава 7

«Не история делает нас, а мы делаем историю».

Этой ночью в мезонине не тушили свечи – это Лев Аркадьевич беседовал с Валерьяном Аполлинариевичем. Их диалог сперва был незатейлив и легкомыслен, но затем, с дозами алкоголя, перерос в серьезную дискуссию. В головы приходили все более и более серьезные мысли: сначала о философии жизни, моральном облике каждого человека, этике и культуре, а затем о процессе формирования революционных взглядов в кругах интеллигенции и необходимости некоторых перемен и реформ. Затронули они и нависшую над Зарецким проблему:

– Я бы на твоём месте, Лев Аркадич, возвращаться в Москву не стал, – бормотал Копейкин, куря трубку. – Ну право, посуди, что может исправить твой отец? Вот увидишь, он только и сделает, что прочтет тебе лекцию о легкомыслии да обругает, как следует; конечно, поделом! Но разве ты этого желаешь? Мне, извини, кажется, что нет. А посему говорю тебе – сиди дома и не спеши в Москву. Без тебя все обойдется, поверь мне. А со службой, так и быть, я тебе помогу: у меня достаточно знакомых чиновников. Ты, братец, не пожалеешь – должность получишь не хуже прежней. Так что не отчаивайся, дорогой мой Лев Аркадич, все наладим.

– Отец велел немедленно возвращаться, – грустно говорил Зарецкий, не слушая товарища. – Дело действительно плохо, а он подскажет мне чем-нибудь. Нет, право, я не могу не поехать.

– Вот скажи мне, Лев, что ты так о своем отце переживаешь? Что он для тебя: учитель? наставник? или, быть может, духовник? Он – всего лишь твой отец! Да я смеялся в лицо этим ОТЦАМ! Они вообразили себя умнее нас. Так ли это? Кто они сами? Что они дали нам? Что они сделали для мира? Скажи мне, если знаешь... Мы всего от самого рождения добиваемся сами! Это не в былые времена, когда все решало наследство, когда дети купались в деньгах родителей, когда, получив маломальский чин, они погружались в беззаботные гулянья, покупали имения, эти... души... Ах, чудесные времена, говорят, были! А что же теперь? Что до нас? Наши отцы не те, что были раньше, они только воображают себя учителями и реформаторами, а на деле-то являются лишь пережитками прошлого! Они только немного потрудились, чтобы создать наше общество... наше, понимаешь? Оно именно наше; мы займем главные места в истории, мы, Лев Аркадич! Ни наши отцы, ни наши дети не войдут в историю, а мы! Мы не только войдем в нее, но мы ее сначала сотворим! Нас нарекут великими реформаторами, идеологами нового строя! Мы достигнем великих целей, мы поднимем великую страну!

Зарецкий, выпучив глаза, икнул.

– Стой, я вижу, вижу, что ты находишь меня гордецом и пустословом. Нет, я привык отвечать за свои слова, и ты убедишься в этом. Да хочешь, спроси у моего круга... Не смотри на меня так паршиво, прошу. Спроси у моего круга, и ты узнаешь, что всего я добился собственным трудом; мой отец нисколько не позаботился о том, чтобы я вышел в свет, он то и дело сидел и наблюдал, – здесь Копейкин понизил тон еще сильнее. – Так что не смотри на своего отца, а делай сам. Хочешь светлого будущего, хочешь хорошей жизни – трудись, работай. В этом наша жизнь, в этом наша идеология.

На этом разговор кончился.

Утром того же дня Копейкин получил письмо от своих Московских товарищей, в котором они просили его о встрече в ближайшее время, чтобы обсудить некоторые вопросы особого значения. Конверт был подписан неким господином М. Копейкин, с волнением прочитав содержание, сжег письмо в печке. Зарецкий, только что проснувшийся, застал его в этот самый момент.

– Что это ты за письмо сжигаешь, братец? Письмо от обожательницы может? – с улыбкой на лице спросил он, войдя в комнату.

– Брось эти ребяческие шутки, Лев! – Нервно ответил Копейкин. – Это от моих товарищей. Мне сегодня придется вернуться в Москву.

– То есть вот как ты поступаешь, милый друг! Меня ты, видишь ли, отговариваешь от поездки, а сам... Мало того, ты мне еще какие-то реформы навязываешь и отца обижаешь...

– Постой, постой, я не хотел никого обидеть; я этой ночью действительно наговорил много глупостей, но не подумай обо мне плохо. Не все, что я говорил, было пьяным бредом... Про реформы это правда; я хотел, чтобы ты поддержал меня, проникся моими идеями демократии, – дальше Копейкин перешел на шепот. – Известно ли тебе, что незнание философии – путь к легкомыслию и забвению? Мы должны просветиться, а затем добиться равенства народа, свободу классов...

– Ты сейчас говоришь о революции? – испуганно перебил Зарецкий. – Ты с этим осторожнее, безумец!

– Лев Аркадич, я вхожу в круг людей, настроенных на путь общественного прогресса. Известно ли тебе, как капитализм утаскивает наше государство на дно? Как порабощает нас власть монарха...

Зарецкий закрыл Копейкину рот обоими руками и оглянулся: на лестнице слышались шаги.

– Валерьян Аполлинариевич, Елена Порфирьевна зовет вас завтракать, – доложила Аннушка, появившаяся в коридоре мезонина.

– Передайте, что я уже спускаюсь, – ответил Копейкин.

Аннушка ушла.

– Ежели тебе интересно просвещение, возьми у меня из чемодана тетрадь и книгу: там все подробно изложено. Но смотри, чтобы это не попало в чужие руки! Ты прекрасно понимаешь, что за такое бывает.

Зарецкий молча кивнул и пошел за чемоданом, а Копейкин не спеша направился на первый этаж.

В столовой сидела одна Аннушка, разливающая по чашкам заварку. Из спальни Елены Порфирьевны доносилось тихое пение. Копейкин хотел осторожно заглянуть в щель приоткрывшейся двери, но случайно задел ее и выдал себя. Елена сидела на красной софе в легком платье, обнажающем ее шею и плечи, и, перебирая волосы, что-то пела. «Проходите, не стесняйтесь», – мило улыбаясь, произнесла она и поджала к себе ноги. Копейкин осторожно вошел и закрыл за собою дверь.

– Вы звали меня, – начал он неуверенно, присев в кресла напротив. – Так отчего же нам не пройти в столовую?

– Я хотела бы поговорить с вами наедине, – наклонив свой стан вперед, так что стала хорошо видна большая часть груди, сказала Елена. – Сперва я хотела пригласить вас в сад, но подумала, что здесь нам будет лучше. Вы не хотите мне что-нибудь сказать?

Копейкин что-то промычал и ссутулился от неловкости.

– Ах, Валерьян, вы такой нерешительный! Что ж, скажу я... Давно хотела вам доложить, что такого приятного человека, как вы, я еще не встречала. Вы мне стали, признаюсь, очень дороги. Я, быть может, слишком наивна, но... я так ждала от вас некоторых слов, что...

– Что я вас люблю? – вскочив с кресел, неуверенно сказал Копейкин. – Вы, вы правы, черт возьми! Я люблю... я влюблен вас. Это, кажется, правда.

– Вы не уверены в своих чувствах?

– Пощадите, не мучайте меня так, прошу. Я так не могу... это неправильно! Вы замужняя дама.

Елена Порфирьевна неспешно встала с софы и, подойдя к Валерьяну, положила ему на грудь свою голову.

– Как же это все неправильно! – сквозь зубы произнес Копейкин и обнял ее.

Они простояли минуту, не говоря и не двигаясь. Наконец, подняв голову, Елена поцеловала Валерьяна.

– Нет, нет, нет! Это нехорошо! – отвернувшись, застонал Копейкин. – Я не должен мешать вам, я не должен... Елена, я уезжаю; сегодня.

– Нет, зачем? Не уезжайте так скоро, – робко заговорила она и прижалась к груди сильнее. – Не оставляйте меня одну.

– Я не могу не ехать; меня зовут мои верные товарищи, с которыми я должен сделать одно важное дело...

– Я не пушу вас! Иначе чем вы лучше моего мужа?! Он тоже уехал ради своих камрадов.

– Не держите меня, потому что если я не уеду сейчас, то не смогу вернуться потом... когда уеду...

– Так не уезжайте же никогда, оставайтесь со мной, здесь.

– Я привезу вам подарок из Москвы; вы ведь любите подарки?

– Я, признаться, никогда не получала настоящих подарков, – скромно произнесла Елена и распустила объятия. – Поезжайте, я не буду вас держать! Поезжайте! Поезжайте!

Копейкин покраснел, ему стало очень совестно перед этой наивной молодой девушкой. Теперь он ощущал на душе всю тяжесть и бремя этого чувства, о котором много слышал, но которого не знал прежде. Его тело охватил холод, по спине пробежала дрожь, сердце забилося беспокойно, и ему стало тяжело дышать. Копейкин знал много дам, которые его обожали, он ощущал их ласки, слышал много нежности; но еще никогда ему не било в сердце шипом любви.

Елена зарыдала, уткнувшись в подушку, лежавшую на кровати. Копейкин хотел утешить ее, но вместо этого, заметавшись, вышел в прихожую, попрощался с Аннушкой, быстро надел шляпу, свой старый потрепанный плащ и выбежал из дому.

Зарецкий, увлеченный его рукописями, неспешно спускался по лестнице, когда вдруг услышал голос Аннушки: «Лев Аркадич, господин Копейкин уезжает!» Не поверив, он выглянул из окна прихожей, но ничего не увидел из-за большого куста рябины, закрывавшего обзор. «Шутка ли?» – спросил он у Аннушки, на что та помотала головой и указала на пустую вешалку. Зарецкий вышел во двор, когда тарантас уже покидал деревню.

– Стой! – закричал изо всех сил Лев Аркадьевич кучеру и бросился вдогонку. Но Копейкин, услышав его голос, лишь слегка повернул голову, махнул на прощание и крикнул, что вскоре возвратится.

Оставив позади себя только клубы пыли, тарантас скрылся за горизонтом.

Глава 8

Прошло три дня. Елена получила письмо от своего супруга-немца, из которого узнала, что он в скором времени навестит ее или даже заберет к себе в Германию. От этого известия она поникла еще сильнее, совсем ослабла, стала раздражаться присутствием в доме Зарецкого и прогнала от себя Аннушку. Лев Аркадьевич погрузился в философию общества социалистов и демократов, засомневался в религии и признал материализм истиной бытия. Его отношения с Натальей Константиновной стали чуточку теплее: она каждый день ждала его у себя в мастерской, где они вместе пили ароматный чай, беседовали о литературе, об искусстве, мечтали о чем-то, после чего отправлялись на прогулку. Несмотря на эту близость, как можно было бы сказать, она не меняла своих взглядов относительно любви, и Зарецкий оставался для нее простым другом. Тем не менее, он не упускал возможности угодить этой высоконравственной дворянке.

В один вечер, довольно теплый и безветренный, он пригласил ее кататься на лодке по озеру. Наташа, не раздумывая, согласилась и, взяв зонтик, не сколько от солнца, сколько из красоты, отправилась за ним. Они шли, взявшись за руки, но как-то холодно, по-дружески. Она что-то напевала, он рассказывал забавные истории, и вместе наперебой смеялись...

В глубине леса, в полутора верстах от деревни, среди молодых цветущих деревьев находилось большое чистое озеро. Дорогу к нему знали немногие, в основном те, кто, бродя по лесу, попадал на него случайно. Место это было поистине неплохим: голубо-синяя вода игриво переливалась в лучах весеннего теплого солнца; по поверхности, по этой бегущей волнами глади, тянулись зеркальные собратья осин, берез и сосен; на берегу, на влажной и мягкой земле, прогибалась и шелестела золотистая травка. Ветер гулял здесь тихий, волнующий только самые листочки воскресших после зимы молодых деревьев и кустарников. Из-под светло-зеленой тягучей ряски временами выглядывали беззаботные рыбки, оставляющие после себя лишь разбегающиеся во все стороны круги. Всюду здесь царил приятная тишина, всюду чувствовалась первозданность и девственность природы.

Разведя кусты, Зарецкий показал деревянную лодку, принесенную сюда накануне. Спустив ее на воду, он вежливо подал Наташе руку. Она скромно подобрала свое платье, перекинула сперва одну, а затем и другую ножку в лодку и удобно разместилась у кормы. Установив весла, Зарецкий оттолкнулся от берега и сел напротив, в носовой части.

– Какое красивое место, – сказала, оглядываясь, Наташа. – Я и не знала, что у нас здесь есть озеро. Сюда бы мольберт... Какие краски вокруг, какие красоты! Лев Аркадич, почему вы не показывали мне это место раньше?

Зарецкий молча улыбнулся и пожал плечами.

– Отчего вы молчите? Ну, расскажите мне что-нибудь... Кажется, вы начали говорить о философии; мне интересно будет дослушать вас.

Зарецкий задумался, но ничего так и не сказал.

– Да что с вами! – наигранно раздражаясь, сказала Наталья Константиновна и толкнула его в плечо. – Бросьте, наконец, эти весла; довольно грести. Расскажите мне о философских идеях, прошу вас.

– Что же поведать мне вам, Наташа? Боюсь, что сказывать о полноте всего учения будет несколько трудно. Ну, конечно, можно попробовать заговорить об основах, – со всей важностью сказал Зарецкий и затем, выдержав небольшую паузу, продолжил. – Вот, например, в учении Гегеля главной целью исторического развития является свобода человека; но эту свободу ему может дать только государство. «Государство – высшее проявление объективного духа», – говорил он. То есть Гегель имел в виду, что человеку необходима свобода, но ограниченная в руках правителя... Вот и недостаток его учения, я считаю. Посудите, какая же это свобода,

если она зависима от кого-то? Свобода дана нам от рождения, и никем не может быть ограничена! Никем и ничем: ни религией, ни царем, ни совестью...

– А что же до религии? – перебила его Наташа.

– Тут доходчиво объяснял Фейербах: «Религия – это бессознательное самопознание человека». Или лучше вот: «Сперва человек создает, – замечу, бессознательно, – по своему образу Бога, а затем, – говорил он, – уже этот Бог сознательно создает по своему образу человека». Он называл веру в богов – фантазией человека, неотъемлемой частью мысленного самоудовлетворения, скажем так.

– Какие все страшные вещи вы говорите, – робко произнесла Наталья Константиновна, пододвинувшись, к Зарецкому ближе. – Скажите, неужели и вы так же думаете? Неужели вы тоже считаете религию фантазией?

– Скажу вам откровенно, – улыбнувшись, возразил Зарецкий, – я так не считаю. Не есть правильно опровергать то, чего мы знать наверняка не можем. Мы не должны утверждать, что – да, а что – нет, основываясь на теориях...

– Как вы точно сказали! Очень умно, Лев Аркадич. А я, простите мне нескромность, все считала вас мальчишкой, думающем о каких-нибудь...

– Глупостях? – сказал, широко улыбувшись, Зарецкий. – Нет, я, знаете ли, бросил это...

Наташа тихонько посмеялась и покраснела от неловкости.

Дальше их разговор перешел в более простое русло: больше не было слышно ни цитат, ни идей, ни воззрений. Они пробыли на озере где-то час-полтора и, наконец, вернулись к берегу. Зарецкий оттащил лодку обратно в кусты и, взяв за руку Наталью Константиновну, пошел с ней по лесу.

Он шел не торопясь, вглядываясь в окружающие пейзажи, и говорил как никогда легко. Он пылал душой, ведь ему наконец удалось удачно высказаться перед дорогим человеком. А Наташа шла, погруженная в его незатейливые речи, и пыталась уловить что-то большее. Теперь она видела его другим человеком: умным, образованным и, конечно же, взрослым; человеком, которому можно было бы раскрыть свою душу.

Наташа почувствовала теплоту, исходившую от близости с Зарецким, но не приняла ее окончательно. Да, он определенно стал ей нравиться, но не так, чтобы можно было переступить через принципы. Любовь и влюбленность казались ей чем-то нехорошим, чем-то лишним, мешающим жить.

День подошел к концу. На лес и деревни опустились холодные, волнующие душу, сумерки. Небо от горизонта и до самого зенита покрылось черными от наступающей ночи и красными от заходящего солнца оттенками. Свежая листва, отливающая зелено-золотым цветом, зашумела под дуновением прохладного вечернего ветра. Заскрипели сухими сучьями старые деревья, и где-то над заросшей речушкой заплакала несчастная ива.

– Однако пора прощаться, – тихим дрожащим голосом произнес Зарецкий, склонив подбородок к груди.

Он держал руки Наташи, прижимая к себе, и, боясь расставания, целовал их (теперь она позволяла ему это).

– Благодарствуйте, что проводили меня до дома, Лев Аркадич, – шептала, улыбаясь, Наталья Константиновна. – Время позднее, нужно отправляться на покой.

Она убрала руки и, повернувшись, пошла к своему дому, белеющему в сиянии месяца.

– Очень жаль прощаться с вами. До свидания! Приятной вам ночи, – протянул Зарецкий, смотря ей вслед.

– До свидания! – тихонько ответила Наташа, после чего ее силуэт скрылся за дверью.

Глава 9

В Москве, где-то в северной ее части, в маленьком, двухэтажном домике мягко-красного цвета, в уютной комнатке с высоким потолком, полом, застеленным дешевыми, но красивыми коврами, в кресле с плюшевой спинкой сидел и курил папироску молодой черноволосый человек с гладковыбритым лицом, без сюртука и галстука, в одном багровом жилете с узорами, свободных брюках со штрипками и черных лакированных оксфордах. Это был не кто иной, как Валерьян Копейкин. Да, по возвращении в город он посетил цирюльника и сбрил свои бакенбарды с усами. На оставшиеся деньги он купил себе жилет с хорошими брюками, отдав старые какому-то несчастному проходимцу в подворотни.

«*Папа* обещал в скором времени выслать мне деньги, – рассуждал, затягиваясь скверным табаком, Копейкин, – стало быть, я могу немного покутить на оставшиеся копейки. Но сперва следует собрать мое общество и обговорить намеченное...»

В этот день в Москве стояла мрачная погода. Все небо заволочило серыми тучами, нависающими непосильным грузом над землей; дул северный гудящий ветер, теребящий ветви беспокойно и устрашающе. Шумела, шуршала, разлеталась по улице и липла на одежду пережившая зиму листва. Люди не ходили в этот день, они бегали, завернувшись в платки или шарфы, подняв воротники своих шинелей и прижав голову к плечам.

Копейкин был вынужден оставить свой уютный дом для того, чтобы обежать своих товарищей-единомышленников и пригласить их к себе. Сделал он это, говоря откровенно, очень охотно, так как жутко не любил одиночества и пустого времяпровождения. Он важной походкой прошелся от дома к дому, оповестил всех, кого планировал, и, не обращая должного внимания на непогоду, отправился расхаживать по многочисленным переулкам Москвы. Прохожие то и дело оглядывались на него да приговаривали: «сумасшедший – разгуливает вальяжно по такой погоде. Совсем о здоровье своем не думает».

Наконец, когда Копейкин наслаждался прогулкой, он возвратился в дом и занялся «*Uber das Erhabene*» Шиллера. В кабине, где он сидел, было прохладно из-за плохой оконной рамы, поэтому пришлось топить печь. Бумаги, как ни странно, не оказалось, равно как и щепок. «Ничего, не страшна потеря, – говорил, вырывая прочитанные страницы из своей книги, Копейкин. – Книги я по два раза не читаю, тем более философские. Шиллер – не велика персона; мне сейчас важнее протопить дом к приходу общества, чем изучить взгляды немца». Шиллер был потрепан основательно: исчезли десятки страниц, картонная обложка, тканевый переплет; все пошло в топку вперед дров. «Вот теперь от тебя будет польза, – смеялся Копейкин, растирая руку об руку перед печкой, – пригодился-таки». Теперь же возникла другая проблема, ибо в доме совсем не оказалось съестных запасов.

На первом этаже с Копейкиным соседствовал дворник, человек уже старый, тихий и практически безмолвный, который частенько бегал по его поручениям. Так и в этот раз ему пришлось взять деньги и отправиться на соседнюю улицу к ближайшему лавочнику. На данные ему семь рублей он приобрел домашнее вино, пару сухарей, какую-то мутную икру с дурным запахом, полбатона хлеба, жесткую, как подметка, колбасу и дюжину картошек. Все это он приволок в дом и выложил на стол.

– Так, – потирая глаза и вздыхая, сказал Копейкин, – ничего, стодится. Вот только скажи, зачем ты икру купил?

– Ясное дело-с, к вину-с, – почесав затылок, ответил старик.

– Себе заберешь. А колбасу-то зачем целую взял?

– Ясное дело-с, к обеду-с.

– Вино-то хоть неплохое?

– Ясное дело-с, хорошее.

– Сколько же у тебя сдачи на руках?

Дворник вывернул карман жилетки: сорок одна копейка.

– Продешевил ты; ну ничего, тем лучше. Вот, возьми себе двадцать... тридцать пять и ступай.

Старик отсчитал деньги, отрезал кусок колбасы, взял икру с картошкой (ее Копейкин попросил приготовить) и побрел к себе на первый этаж.

Вечером, когда уже начинало темнеть, но солнце еще висело над горизонтом, в небольшой занавешенной гостиной собрались пятеро молодых людей. Они сидели в жестких креслах за прямоугольным столом при свете одного канделябра и что-то обсуждали с Валерьяном Аполлинариевичем.

– Недавно, насколько мне стало известно, в Пресненской части города¹⁰ задержали трех господ по доносу, – сказал один из сидящих за столом.

– Всюду эти доносы! – возразил второй, картавый человек. – Шпионства всюду; лгут на каждом углу. Все лишь бы себя любимого отгог'одить...

– Господа, господа, – стуча ногтями, произнес Копейкин, – давайте не будем об этом, а то вы слишком горячитесь. Нам теперь нужно говорить тише. По вечерам, когда улицы умолкают, под окнами ходят «люди в шляпах», я их так называю; так что, если не желаете быть пойманными, говорите тише.

– Валег'ян Аполлинайевич, мне кажется, что о тех вещах, о котогых мы беседуем с вами, вообще не следует говог'ить, – возмутился второй.

– Согласен, эта демократия никуда не годится, – вздохнув, заявил первый. Нам нужна крепкая опора... нам нужна конституция. Я считаю, не следует путать равенство, то есть социализм или демократию, со справедливостью. А под справедливостью я, позвольте, разумею конституционную монархию. И только.

– Ваши идеи об этих реформах ни к чему, простите-с, – добавил третий, сидевший от Копейкина дальше всех.

Все согласились.

– Стойте, но разве не затем вы меня звали, чтобы подготовить кардинальные реформы? Я уже наметил план по помощи крестьянам и мещанам, которые затем сыграют главную роль в становлении государства, – тихим, но внушительным голосом возразил Копейкин. – Года три, поверьте мне, и революция случится; мы должны быть готовыми к ней. Первым делом следует скинуть с наших плеч чиновников, затем объявить конституцию, а уж дальше, конечно же, ликвидировать самодержавие в лице царя-императора.

Человек, сидевший дальше всех, неожиданно вскочил из-за стола, простонал: «О, Господи!» и, быстро накинув свою крылатку¹¹, убежал из дома.

– Кажется, наш круг распадается, господин Копейкин, – сказал самый старший из присутствующих, приходившийся Валерьяну хорошим другом.

– Неужели вам все равно? – встав с кресел, спросил Копейкин. – Неужели вам плевать на судьбу родины? Вы готовы жить под гнетом гнилого самодержавия и развивающегося капитализма?

– Знаете, господин Копейкин, ваши суждения слишком резки! – возмутился первый из присутствующих. – Мое мнение таково, что, если вы любите свою родину, если вы патриот, то вы непременно должны любить и государя, и его политику. А вносить поправки, которые вы гордо именуете реформами, можно и без революций.

– Спегва вы говог'или о помощи кгестьянам, о гавенстве, о спгаведливости, – нахмурившись, сказал второй, – а сейчас вы... вы дегзнули опог'очить цаг'я нашего; сказать, что он гне-

¹⁰ До 1896 года Москва делилась на 17 городских частей.

¹¹ Плащ-крылатка – широкий плащ без рукавов (с прорезями для рук), с длинной пелериной, иногда двумя.

тет нас, не дает свободы! Пги всем уважению к вам, Валег'ян Аполлинайевич, я ухожу. Я здесь пг'исутствовал, как человек, интеисующийся философией, тгудами Станкевича, Гег'цена, Гегеля или Жугдена. Вы огогчили меня, Валег'ян Аполлинайевич. Всего вам добг'ого, пг'ощайте.

Картавый человек оделся и покинул дом.

– Какой ужас! – схватившись за голову, проговорил Копейкин. – Я надеялся на поддержку, а получил... а получил нож в спину.

Человек, говоривший первым, также вышел в прихожую и, попрощавшись с Копейкиным и его товарищем, вышел.

– Что же ты так переживаешь, Валерьян Аполлинариевич? – спросил, откинувшись на спинку кресла, друг Копейкина, звали которого, к слову, Алексеем Давыдовичем Лейзеровским.

– Разве не ясно? Все отвернулись от меня, все мои единомышленники!

– Конечно, такому суждено было случиться. И я, не будь твоим старым другом, ушел бы. Посуди сам, ты предстал перед нами философом, умным человеком, желающим изменить мир вокруг, начав с помощи ближним. Все тебе поверили... Мы ведь интеллигенция, образованная часть общества, должны помогать изменять мир к лучшему. Сегодня ты предстал перед нами другим... ты раскрыл свои истинные намерения, показал их без всякого стеснения. Ты ведь, как я понял, истинный революционер! Вспомни, что было с «Ишутинцами», «Народной расправой», «Петрашевцами» и другими¹². Ты хочешь суда? Ареста? Каторги может? Или, прости, смерти?

– Но ведь мы же демократы, социалисты...

– Тебе живется плохо?

– Мне – нет; но ведь помимо меня есть бедняки, калеки, крестьяне, в конце концов. Они живут бедно, они живут плохо! Мы ради них должны стараться. Наша цель – добиться прав и свобод.

– Нет, мой дорогой друг, сменив власть, строй, порядок, ты ничего не изменишь. Кто бы ни сидел на троне, будь то монарх, народ или кто-нибудь еще, никогда не будет хорошо всем. Есть одна мудрость, один закон, в котором я свято убежден: если хорошо богатым – плохо бедным, если хорошо бедным – значит непременно должно быть плохо богатым. Так всегда было и так всегда будет. Кто-то радуется, а кто-то, стоя рядом, плачет. Нам не уйти от этого, как от собственной тени. Так что, будь добр, брось свои революционные взгляды, брось этот дурной социализм и демократию; этого всего нет. Выдумка это.

¹² «Ишутинцы», «Народная расправа», «Петрашевцы» – революционные объединения 19 века.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.